

КОПТИЛКА

Повесть

Глава 1

Вместо стены – окна, и там плавают головы. Вот такой аквариум. В любое время дня и ночи они могут заглянуть и сказать: «Проверка!» Чем мы, по их мнению, тут занимаемся? Паркет разбираем? Проверяют обычно один раз, часов в двенадцать, когда ты уже видишь десятый сон. Утром тебе велят идти завтракать. Кое-как застелешь с заламами кровать и плетешься среди таких же теней, как ты. Отыскиваешь место, садишься и ждёшь, когда тебе раздадут порцию. Многие не доедают. Светка выходит после завтрака из палаты с ложкой и вычерпывает остатки из тарелок. Они свалены у кухни на столик с колёсами. К ней часто бабушка приезжает.

Как-то я забастовала, провалялась в кровати до обеда. Светку бабушка отправила в столовую, а меня утешать принялась. Говорит, вот блокада в Ленинграде была, люди и то держались. Говорила ещё что-то, я как-то с себя на этих людей, мне незнакомых, переключилась, успокоилась. А внутри всё равно колючка осталась. Хреново им было, правда, но мне ведь тоже несладко.

Полюбишь медсестру, обычно красивую, чтобы была как мама, а она пару слов добрых скажет и забудет о твоём существовании. А ты ведь уже веришь, что она тебя, особенную, за что-то такое любит. И вспомнишь о законе детерминизма.

Хорошо если девчонки перепалку затеют. Как тогда: Катька стащила из чужой тумбочки хавку. Как они на неё набросились! Оля, белобрысая дура, говорит: «Ничего, главное, не жрёт в столовке, а в унитазе я у неё кучу целую видела».

Думала, съедят живьём, нет, суд решили рядить. Прокурором я сама вызвалась. Избранные и отверженные по закону детерминизма – надо соответствовать. Катька во всех грехах разом призналась. Сказала, что мама ремнём бьёт, что пьяная побирается и одежду для неё из церкви приносит, что воровать ей приходится, а то с голодухи помрёт.

Приходил негр из медучилища, ко всем студенты белые как лунь, сова и снег, а ко мне негр. Он: «На что жалуетесь?» Я ради смеха: «На прыщики». А он: «Что такое прыщичики?» Когда студенты приезжают или врачи ходят – это развлечение. Пока давление померят, пока постучат по животу, пока дышать заставят или заставят перестать дышать, время и проходит. Телека у нас нет. Чем заниматься весь день, непонятно. На меня прямо тоска нападает, я сворачиваюсь калачиком и засыпаю. А здесь всё то же: девчонки грызутся, чего-то никак поделить не могут. Но хуже всего, когда кто-то из них уезжает. Так дуры дурами, а перед разлукой у меня глаза на мокром месте.

Тех, кого выписывают, легко отличить от тех, кто остаётся. «Выписантки» подсказывают ранёхонько, собирают свою кровать, аккуратно заправляют. Торчат у окна или беспокойно маячат. Судорожно что-то делают, так и хочется надавать им по щекам. Иногда что-то быстро рассказывают, хочется уйти, плюнуть, а никак, словно примагнитило. Врастаешь в кровать и как заворожённая смотришь. Может, и меня скоро-скоро заберут. Врачи пока отмалчиваются, хотя подступаю я то с одного бока, то с другого, беру измором. Каждый раз говорю, жалоб нет, ничего не

Евгения Скобина родилась в 1988 году в Москве. Училась в РГАУ-МСХА имени Тимирязева, на Высших литературных курсах Литературного института им. Горького, в магистратуре ВШЭ по программе «Литературное мастерство». В «Волге» публиковалась повесть «Курков дом» (2022, № 9-10).

болит, не беспокоит. Пускайте, говорю, в космос, я вам Хаббл почию. Уже второй месяц пошёл, как я здесь.

Выписывают часов в одиннадцать, и вот эти четыре часа с подъёма – пытка для без пяти минут освобождённых. Все боятся, что оправдательный приговор отменят. Избранные или отверженные по закону детерминизма?

К половине назначенного часа счастливица погибает оставшимся уголки на кроватях – это, значит, чтобы мы желание загадали. Традиция такая. Всем известно, что загадывают. Я дожидаясь, пока мне загнут уголок, и ухожу. Я могу в принципе разреваться и на людях. Мне не в падлу, но все-таки реноме держать нужно. У меня репутация крепкая, со мной и мальчишке корешиться не стыдно. Есть у меня такой приятель, мы с ним встречаемся на лавке, что промеж двух зон – мальчуковой и девчачьей. Он пучеглазый, глаза навывкате, мы его зовём Бобр.

К вечеру нас разгоняют медсёстры, и я иду к тётке Варе. Она лежит в больничке со своей трёхлетней дочерью Ленкой. Она поит меня чаем с печеньем, а я играюсь с малышкой. Стараюсь говорить на взрослые темы, но держу себя в руках. Прекрасно понимаю, что, когда дети повторяют взрослые слова, они ставят себя в глупое положение.

Тётке Варе я позволяю над собой немножко посмеяться, ей это приятно. Ленка – маленькая, и она устаёт. Как-то привезли к нам пацана, ему лет четырнадцать, пьяный вдрабадан, ругался матом, что чуть потолок не падал. Кричал, что всех зарежет. Я тётке Варе сказала, что мы с девочками забарикадируемся, а спать не ляжем. На следующий день она меня спрашивает: «Во сколько легли?» Я соврала: «В четвертом часу». Она рассмеялась: «Я к вам в 12 заглядывала, вы дрыхли как убитые».

Не могу понять, сколько уже не приезжали родители. Я позвонила домой, и мама каким-то странным голосом сказала, что пока не может приехать, что нужно подождать и что-то про папу. Меня очередь поджала, со всех концов крики возмущения, пришлось класть трубку. Каждому на разговор не дольше минуты. Я слышала, как тете Варе говорила врачиха: мужики – слабый народ, первые ломаются. Бегут, что тут поделаешь. Большой ребенок – это как обвинение в мужской состоятельности.

Поймала у кабинета Фёдоровича, он завотделением, и бросилась ему на шею. Я обычно не лезу к незнакомым мужикам. Но тут у меня что-то отключилась, я обняла его, сцепила в замок руки и сказала: «Фёдорович, миленький, выпишите меня, не могу больше». От чистого халата приятно пахло, и я бы, казалось, всю жизнь так бы и стояла.

Он погладил меня по голове, расцепил руки: не грубо, но как-то непреклонно. Голос его был успокаивающий, хотя ничего успокоительного он не сказал. Народ туда-сюда шастал, я и отстала. Реноме всё-таки держать нужно.

Вечером вызвалась мусор выбрасывать. Раньше мне никогда не везло, выбирали кого угодно, только не меня. А в этот раз красивая медсестричка говорит:

«Ты иди».

Мусор штука не тяжёлая. Вышла на улицу, захлестнул меня ветер, синее небо – звёздное, снег сверкает под фонарями, и всё так сладко, свежо и ярко. Кинула мусор в большой синий бак с цифрами и бросилась через сугробы к решётке. Чёрная, высокая, пики в небо смотрят. Мне в спину крики. Чего-то там стой или ещё что-то. А я лезть сразу начала. Ввысь, всё выше и выше. «Мама, – кричу. – Мама!»

Глава 2

– Девочка говорить умеет? – спросил женский голос. Я увидела тонкую врачиху и мать, лицо которой давно перестала различать. Она обращалась со мной, будто меня четвертовали и я вот-вот умру. Жалость выела ей глаза.

– «Подростка» читала? – спросила врачиха и принялась листать мою карту. На ее пальцах сверкал янтарь.

Мать затараторила, и врачаха выпроводила ее из кабинета. Мы остались одни. Я совершенно прснулась и смотрела на нее, на длинный письменный стол, на линолеум – всегда одинаковый во всех больницах и поликлиниках – потерятая рьжина и запертый в квадрат клен, большие окна – всегда, разумеется, открытые. Сквозняк лизал мне спину и иногда высовывал узкий, длинный язык, не язык, а нож для бумаг, чтобы протолкнуть его промеж ребер.

– Говорить будем?

Я представляла себя частицей, которой проще исчезнуть, чем набрать массу, а с ней инерцию. Превратиться бы в обои или одеяло собственной комнаты. Мама бы пришла, а меня нет. Она бы собрала постельное белье, сунула бы в барабан стиральной машинки – и где бы я оказалась? А нигде, я ушла бы в канализационный слив, влилась бы в бурный поток канализационной жижи, прошла бы десять степеней очистки и стала бы чистой, возможно, слегка хлорированной.

Врачиха устала на меня через свои черепаховые диоптрии.

– Жалобы есть?

– Жалоб нет, – твердо сказала я, и мой прорезавшийся голос прозвучал младенчески крикливо. Я надеялась, что моя карта – некогда такая тонкая – так и будет называться – «Жалоб нет». Собственно, я надеялась, что на моем могильном камне появится такая же надпись.

– Так-так, – сказала врачиха. – Покажи язык, весь в налете, а ты говоришь, нет жалоб. Раздевайся, я сказала раздевайся, нечего на меня тарашиться.

Я неуклюже поднялась со стула. Непослушным было тело, и материя вокруг сопротивлялась, и лишь где-то внутри, когда я не двигалась, была точка баланса. Тело свое – некогда такое гибкое – я разлюбила. Было важно только одно – чтобы там внутри – в сознании – голове – во временной протяженности – чувствовалось, что я, как желе, застыла, все остальное значения не имело. Я бросала на спинку стула одну деталь одежды за другой, как будто пластырем заклеивала рану – вот какая гора вышла. Трусы и майку снимать не стала. Мембрана между мной и миром истончилась.

Врачиха подошла близко и запустила руку в трусы. От нее пахло быстрым завтраком, и угадывалась нотка спирта. Она всегда обрабатывалась, словно я бацилла чумы. Касание резиновых проспиртованных перчаток было неприятно, а еще они скрипели, как повешенный. Я посмотрела в окно. Послышался зов электрички, на горке – там, где застыл водоём, с криками скатывались дети. Их розовые, желтые, салатовые куртки резали мне глаза. В трусах врачиха искала лобковые волосы – это и я, и она прекрасно знали. Их там не было – я бы и так могла ей это сказать. Я бы сказала, тут бы я молчать не стала. Но на слово они никогда не верили. Я подумала: «Ну и работенка, лазить подросткам в трусы и не получать от этого никакого удовольствия».

– Коптилку не минуешь, если на то твоя судьба, – сказала она, шелкнув резинкой перчаток.

Я улыбнулась. Врачиха погрозила мне пальчиком и как можно дружелюбней сказала:

– Думаешь, ты сможешь выжить в этом мире? – спросила она. – Что придут люди, которые скажут, как тебе жить? Но никто не придет и никто не скажет. Панацеи изобретают, но они не работают. Жить тебе придется так, как получится. Ты будешь сопротивляться, но ты упадешь, и никто тебе не подаст руку. Умри – так скажут тебе хорошие люди. Эти хорошие люди никогда не узнают о твоих страданиях, и ты будешь стоять в очередях с бабками, чьи ноги будут отпилены, а глаза ослепнут. И они будут тебе говорить, что ты тоже очень скоро – потеряешь и глаза и ноги. Ты будешь идти к смерти – и бодрым маршем, и ползком. Ты будешь просить о смерти, но смерть не придет, она будет ждать момента, когда у тебя что-нибудь можно отнять. И ты, наконец, измученная, заведешь то, что отнять будет можно, это разворотит твоё сердце, ты как большой плод, оставленный на солнце, сгниешь, а потом пройдет дождь и ветер, и ты исчезнешь, как будто тебя никогда не было, никогда не будет, и все, о чем ты думала, было дурным сном, туманом. Ты отверженная, а не избранная. Таков закон детерминизма.

Прощаться я не стала, просто прикрыла дверь. Если бы могла, я бы сбежала от них далеко-далеко. От врачей, от матери, от маленькой квартирке, от школы и Коптилки. Мама подсовывала мне Льва Николаевича «Смерть Ивана Ильича» и Антона Павловича «Черного монаха», а я чи-

тала норвежские сказки, собственно, только это – на восток от солнца, на запад от луны – меня еще радовало. Персонажи были столь не выписаны, что я могла расположиться в любой форме.

На охране мужик буркнул в спину:

– И как вас, уродов, земля носит!

За черным забором – отделяющим улицу от поликлиники – стояла женщина под зонтом и курила, и дым, изгибаясь, валил через край прочной ткани.

– Зажигалку не одолжите? – спросил прохожий.

– А легкие не одолжить? – ответила мама, и мужчина ретировался.

На автобусной остановке пытались вклиниться в транспортное средство люди. Когда один человек протискивался в переднюю дверь, другой человек из задней вываливался. Мне захотелось лечь в снег и никогда-никогда не вставать. Мать дернула меня за руку. У тебя карта? Я качалась на пластине зимне-весеннего неба, и только там, если меня не трогать, я могла быть. Да, пожалуй, что могла.

Глава 3

Я соскучилась по Коптилке. Мне нравились ее серые коридоры, сине-серые панели, стерильно-но-белые медицинские посты и пациенты. От долгого пребывания снаружи меня начинало мутить: от благополучия и полнейшей удовлетворенности лиц. И когда я возвращалась в Коптилку, я возвращалась домой.

Такое же чувство бывает, когда стоит жара. Ты ей сначала радуешься, ведь это лето, ведь это зной, ведь вода как парное молоко, а потом эта жара начинает сжигать тебя. От нее нет спасения: трава жухнет, и все живое умирает, и вот тогда наконец приходит холод подступающей осени.

Мама говорила, что август – это время, когда олень пустил струю в воду. Солнце скрывалось, и небо укутывали облака. Облака, похожие на вату между двойными рамами в избах. И еще не холодно, но и не тепло, и ты идешь в толстом свитере, и ты весь внутри, а не снаружи. И ты еще мог бы долго так идти.

Я шла по переходам, облицованным белым кафелем. Его не было, и я стала ждать. Я простояла час, и когда он появился, я попросила сигарету.

Леша молча протянул. Меня воротило от тревоги, но когда я встала рядом, как будто попала в другое место. И тогда я поняла. Чтобы выжить, я придала смысл объекту вне себя. Я разглядела у него морщины и мешки под глазами. Я хотела только одного – встать так близко рядом, как только могла. Мы молча курили. Я поблагодарила его и пошла к себе. Я поняла, что на этот раз все неизбежно, я открыла последний тюбик с этим чем-то и начала его расходовать.

Поручни вдоль стен посверкивали от ламп. Большая часть коридоров без окон, и лампы, конечно, очень нужны. Иногда они мигали, скрывая на секунду весь мир, и когда включались, ты не знал, окажешься ли ты в том же мире или перепрыгнешь в другой.

У медицинского поста столпились пациенты, а вдоль палат текли белые халаты. Я протиснулась среди коллег. Шепот неумирающих старух содержит в себе все то же рациональное зерно: опухоли, ампутации, слепота, гипертония, диарея и мигрень. Говорили про таблетки, схемы приема препаратов, осуждали врачей, мерялись тяжестью своего течения. Электрофорез, магнитофорез, фонофорез. Кто плавает в бассейне, кто играет в настольный теннис, кто ходит в лекторий, где обсуждает закон детерминизма и мир как волю и представление. Другие неумирающие собирали деньги и обсуждали условия выигрыша. Бобровский, когда я проходила мимо, сказал:

– Старуха умирает!

– Не умрет, – ответила я. Старуха достигла бальзаковского возраста и собиралась помирать вот уже в шестой раз. Верить в ее смерть я отказывалась.

- Вот увидишь, на этот раз точно на тот свет собралась, – Светка вонзила зубы в кулак.
 - Так вы на нее банк держите?
 - Нет, на тебя, – воспаленные, красные глаза Бобровского моргнули и уставились на меня.
- Светка расхохоталась, а потом захлопнула челюсти, как шкатулку.
- Об отсутствующих хорошо или никак. Бобр пошутил!

Лист с надписью «Сухарева Елизавета Андреевна, 24 года» давно забился под маленькую тумбочку. Там же лежал листок, оторвавшийся, видимо, много дней назад от другой кровати, – «Черышева, 1990 года рождения». Я не помнила ее имени, но все звали ее Старухой.

На соседних кроватях прочитала уже по привычке: «Елена Яковлевна Малышева, 23 года» и «Светлана Николаевна Диброва, 22 года». Теперь существовала только Коптилка. Высокие сосны, как наемники при дворе византийского императора. Палата с шестью кроватями, а на них – неподвижные, живые еще девочки; гудящие, как улей, аппараты. Холеные руки массажиста – тот всегда смотрел на мою грудь без всякого стеснения.

- Что это с нашей старушкой? – испуганно спросила Леночка.
- Да ничего, она просто дышит так, – пожалала плечами медсестра.
- Она же хрипит прям, – сказала я. Мокрая спина в сбившейся майке и красные, все пролежнях ноги – мысль провести ночь с покойницей меня вдохновляла мало.

Выходя из палаты, одна из медсестер хлопнула ладонью по выключателю.

Я вытащила из тумбочки мазь и включила ночник. Лепила маску, гримасничала перед зеркалом. Старуха больше не хрипела. Я прислушалась – вздохи Леночки, храп Светки, и все. Я вытерла жирные пальцы. Вскочила, ударилась мизинцем о стул и включила свет.

- Что? Что такое? – спросила Леночка.

Я подошла к Старухе и коснулась ее руки. Кожа была влажной и холодной. Нагнулась, всматриваясь в лицо. Вспомнила, как Леночка рассказывала: когда над лягушкой ставят опыты, ей отрезают верхнюю челюсть, чтобы вогнать иглу в открывшийся спинной мозг. Я чувствовала себя именно такой лягушкой.

Под дверью ординаторской бил свет, и я забарабанила. В лицо пахнуло коньяком.

- Старуха умирает!
- Да здравствует старуха? – за спиной медсестры раздался голос Бобра.
- Вам самим-то не надоели эти игры? Идем, Тома, посмотрим!

В палату я входить не стала и ждала у темного ресепшена. Медсестры вышли через пять минут. Тома обернулась у двери ординаторской и, сжавшись, сказала:

- Жива!

Под кожей засела игла. Я смотрела на пустую койку старухи и думала, что лист с ее именем, которое я так и не запомнила, до сих пор лежит под тумбочкой. И если бы я захотела, я бы могла вспомнить ее имя.

«Кап, кап, кап!»

Последние капли просочились сквозь баллончик, пробежали по трубочке и исчезли. В пластике показалась кровь.

– Лиза, ты знаешь, что такое импринтинг? – спросила меня Леночка. – Импринтингом в этологии называют поведение птиц. Они принимают за мать первое существо, которое видят после рождения. Лиза?

Я молчала. Слово мне понравилось.

– Татьяна Павловна! Татьяна Павловна! У Лизы лекарство кончилось! – Лена отложила книгу и крикнула в просвет двери. Встать она не могла. Треножник капельницы все еще цеплялся к ней щупальцами.

Длинный коридор, шаркающие шаги, бледные лица пациентов, ледяные лица медсестер, веселые – практикантов из медучилища.

В туалете пахло сигаретами и хлоркой. Окно, вертолетная площадка, черная решетка, пруд с утками и сосны. Я дано забыла, кто я есть.

Дверь хлопнула. Я обернулась и увидела Светку.

– Целый час под капельницей, – громко и почти с наслаждением сказала она. Через секунду я услышала, как струя ударила в керамический ковш.

Я зашла в кабинет ультразвука и поздоровалась с Татьяной Павловной, она была недовольна. Она предпочла бы, чтобы я зашла позже. Это чувство было разлито на ее физиономии, как запах огурца по комнате. Я легла на стол, обтянутый синей клеенкой. Она облила мой живот гелем и принялась распределять его роликом. Окно было открыто, и я чувствовала холод.

Врачиха выключила свет, и мы посмотрели на экран. Татьяна Павловна водила по моему животу датчиком. На экране появились тени: там как будто ходили люди, как на страницах учебников: от австралопитеков до хомо сапиенс. Они все шли и шли и исчезали где-то за пределами экрана.

– Лучше, – сказала Татьяна Павловна. – Сделаешь еще пять инъекций и можешь съезжать из Коптилки.

Я вытерлась полотенцем и ничего не ответила.

– Или ты из этих? Ты собралась тут помирать?

– Я еще не решила, – ответила я.

– Дура, – беззлобно ответила Татьяна Павловна.

Лето переходило в осень: на стыке сезонов умирают многие из нас. Мысль о том, что нами управляют законы природы, приносила успокоение. Мы, загражденные от мира, точно февральским льдом, уходим на еще большую глубину.

В голове поселилась хмарь, а тело превратилось в тряпку. Ничего не радовало, а обычные удовольствия еще к тому же приносили боль. Ешь любимое блюдо, а потом мучаешься неделю. Читаешь книгу – болит голова. Ходить даже из угла в угол – и то невозможно. Ты сворачиваешься клубком и превращаешься в красную пульсирующую точку, которую последним напряжением воли пытаешься сделать тише.

Я спустилась на лифте, толкнула турникет и вышла на улицу. Сильный туман: серый, плотный, словно войлок. Не было видно ни дерева, кажется, даже рука моя пропадала, стоило ее только вытянуть. Шаг за шагом я уходила все дальше от серого здания Коптилки. В стороне от главного входа дыра в заборе, а еще дальше набережная и пруд. Покрякивали утки.

Летом они плавали независимо, но как только наступала зима, потребность в людях возрастала. Я часто думала, как птенцы, уже подрощенные, конечно, впервые встречают холода. Они сначала понимают, что пруд уже не дает им достаточно еды. Рыба уходит на дно, все живое впадает в анабиоз. А потом воду сковывает лед, и утки улепетывают в заросли. И уже до конца зимы пластаются по поверхности и морозят свои красные, совершенно голые лапы.

Я шла по этому туману и понимала: ничего меня не держит. Я могу это сделать, не причиняя никому страданий. Просто не принять таблетку, всего одну, и через сутки я буду мертва.

Я никогда не цеплялась за свою жизнь, так мне казалось. Ребенком я царапала в дневнике, что в Спарте с нами поступали мудрее: сбрасывали со скалы и прекращали наши мучения. Удивительно, что именно эта скромная история Плутарха обрела популярность среди нас. Возможно, сердца детей разрывались еще в воздухе, а может, они разбивались о скалы. Видения этих полетов, разбрызганное серое вещество еще долго мне снилось.

Как никогда раньше, я подошла к краешку этой скалы и полюбовалась камнями, впадинами, дистанцией и даже рассчитала время падения. Но прыгать не стала, возникло ощущение, что я что-то не исчерпала. До этого казалось, что черпать мне особенно нечего, а когда я подошла к этой скале, оказалось, что там, во мне, еще что-то осталось. Я смотрела под ноги и думала, что же это – что-то. При входе я заметила потускневший плакат «Умрите или выходите здоровыми людьми».

В Коптилке я была должителем, я помнила всех – и всех забыла. Я знала, как просто покинуть это место и перебраться на Большую землю, ведь я так не раз делала. Но миновав этот зал, уставленный яствами, которыми мы не могли насладиться так же, как и античные птички нарисованным виноградом, коптильщики всегда возвращались.

Я была здесь задолго до Бобровского и Светки. Леночка появилась здесь пять лет назад. На очереди я была следующей.

– Ну как ты, Солнце? – спросила я Леночку.

Она раздвинула рот, показала похожие на апельсиновую корку десны, и веснушки забегали по ее лицу.

Она закинула ногу на ногу и отложила книгу, где на обложке красовался муравей. На столе стояла миска с печеньем и недопитое молоко.

Леночка была ребенком, и я любила ее. Мне нравилось воображать ее жизнь. Как она в своем взрослом теле переживает осознание, что навсегда останется маленькой. Что изо дня в день она будет читать книги и никогда не узнает жизни. Она никогда не возьмет на себя ответственность, не станет решать за себя и за другого. Она никогда ничего не обретет и никогда ничего не потеряет.

Леночка никогда и не пыталась выйти из этого аквариума, никогда не примеряла на себя роль обычного человека и нисколько от этого не страдала. Леночка говорила мне, что мама ее удивлялась, как долго, до восемнадцати лет, она пахла как ребенок. Другие дети уже начинали вонять потом, и у них появился мускусный запах, а Леночка пахла все так же. А потом больница, скорые, анализы, операции, и вот она здесь, в Коптилке.

– Они все никак не успокоятся? – спросила она.

– Они никогда не успокоятся, – ответила я.

Леночка рассмеялась. Я знала, что ей доставила удовольствие мысль, что кто-то там, на Большой земле, должен каждый день просыпаться и идти на работу, чтобы делать скучные дела. А она может лежать целый день и ничего – совсем ничего – не делать. Они будут грустить о прошедших выходных, жаловаться на короткий отпуск и маленькие праздники. На невыносимых детей и проблемы, которые приходится решать: со школой, логопедями, кружками. Гнать всю жизнь вперед, не имея возможности остановиться, чтобы насладиться хотя бы одним мгновением. Леночка не была злорадной, она была как счастливый ребенок, который временами корчится от боли.

– Ты думаешь, они смогут нас заставить?

– Пока панацея экспериментальная, лет десять у тебя есть, – сказала я.

Леночка с удовольствием потянулась и, виновато улыбнувшись, погладила корешок книги. Я вышла из палаты, аккуратно прикрыв дверь.

В пятнадцать лет все проще: тебе говорят, что твоя жизнь кончена, но ты в это не веришь и ищешь способ доказать, что это не так. Тогда в школе никто не мог понять, что со мной происходило. Все списывали на гормональные перемены и ругали меня страшно, что из ушей валил дым. Мне говорили, что я пускаю под откос свое блестящее будущее. Потом эта фраза еще долго была мне по голове. Хотя от третьего места на спортивной олимпиаде до блестящего будущего, кажется, пролегал много световых лет. Физручка говорила мне с упреком, и даже не мне, а мимо меня, потому что в тот раз, когда я прибежала последней, я умерла для нее. Она сказала: «И это моя лучшая ученица!»

Я не могла понять, что со мной происходит, и ходила в поликлинику как к себе домой. К тому времени мы с Максом успели поцеловаться, разок он прижал меня к одеялу и немного пощелкал на животе резинкой от трусов. Но той зимой я была сама не своя, к тому же Макс обожал спортсменок. Мы смотрели биатлон вместе, и он потом мне еще долго рассказывал, какая умница и красавица эта Зайцева. Я не могла простить предательства своего тела и уже чувствовала над-

вигающееся предательство Макса и замыкалась в себе. Когда меня все-таки забрали на скорой и вынесли приговор, я еще думала, что это все мишура, это грязь, налипшая на колеса, это болезнь, а не я. Мы пойдем разными дорогами: я ее буду игнорировать, подкидывать ей таблетки, и все-то у меня будут хорошо.

Я спускалась на станцию Серпуховская, эскалатор которой один из самых длинных в Москве. Навстречу мне плыли светящиеся шары, и я верила, что с этих пор все пойдет по-другому. После выписки я сразу прибежала к Максy. Он меня ждал, волновался, а его мама велела мне подарить подарок. Тогда с этим было просто: фотоальбом с кошачьим семейством, пластиковая рамка сердечком и кассета группы «Скутер». Мы слушали «I Was Made For Loving You», и я начала ему рассказывать все, что узнала: про необратимость, про безысходность, про ожидание смерти, про Коптилку. Про закон детерминизма, про избранных и отверженных.

Я сгущала краски, потому что уже тогда хотела только одного: чтобы меня пожалели. Я смутила Макса, он задергался, и непринужденность наших отношений исчезла. Я быстро сообразила, что натворила. И представляла все, что со мной произошло – безысходность, необратимость и неминуемую угрозу смерти – как легкую простуду.

Я любила электрички, и он потащил меня на Савеловский вокзал. На серой ветке самые длинные эскалаторы: пока едешь, уснуть можно. Но когда поднимаешься вверх, тебя всасывает длинная кишка-коридор и влечет к выходу. Вокзал высится бело-зеленый, а скамейки внутри – черные, они довольно грубые, краска нелепо замазывает проемы, и сразу понятно, что в этих пустотах, кроме стуков, ничего и нет. Мне всегда нравились поезда: зеленые, длинные, многосоставные. За квадратными окнами я видела людей, а они видели нас, ржавую табличку с неисправным расписанием, цветные киоски, продавцов с баулами, в которых было все, чтобы без скуки провести два часа своей жизни. Люди смотрели в окна, а я смотрела на людей и мечтала только об одном: сесть по ходу поезда, поставить ногу на батарею и считать за окном столбы, березы, любоваться летящим снегом и ни о чем не думать. В теплых вагонах люди распахивали куртки, а некоторые из них свои души, и тоже нараспашку.

Когда я слышала рев электрички, я тащила его за рукав, смотреть на поезда. Маршруты специально выбирала, чтобы хоть минут десять, раскинув руки в стороны, идти по рельсам. Макс ругался на меня, и иногда я назло перебежала пути в неположенном месте, забиралась на платформу, лезла через решетку и в самую последнюю минуту впрыгивала в вагон. Мне часто придерживали дверь, и я искала его в окнах.

На станции 47 км по Савеловскому направлению он сказал мне, что это мне только кажется, что мне ничего не нужно, что я ничем не дорожу. И что если он уйдет, я буду жалеть об этом больше, и ушел.

Я села на ту электричку, и она привезла меня в Талдом. Большой, рассыпанный, скучный городишко с полуразрушенными пятиэтажками. Электрички ревели, как когда-то, должно быть, ревели бизоны в прериях, в ушах свистел ветер. Я села на лавку и смотрела, как в вагоне люди занимают места, как они раскладывают вещи, как разговаривают о какой-то ерунде как о чем-то важном. Передо мной проходили парочки, одинокие старики и родители, за руки которых дети цеплялись, как обезьянки. Электричка тронулась, я знала, что следующей крупной станцией будет Дмитров, это большой город, миллион или около того жителей, но мне больше никуда не хотелось ехать.

Я возвращалась на свой этаж и петляла по переходам между корпусами, иногда выходя на лестницу: там было свежее и пахло табаком. Я бросила курить вот уже десятый раз и, находясь уже на грани срыва, не могла отказать себе в удовольствии понюхать сигаретный дым.

Холодным осенним днем, на пустой лестничной клетке, заваленной окурками, я встретила его. Жилет на голое тело, мокрые волосы, блондин. Он посмотрел на меня, и я разозлилась. Ни-

кто не имеет права смотреть на меня, видеть меня, замечать меня. Я невидимая. Невидимая для живых, потому что мертва, а мертва для мертвых, потому что глаза мертвых обращены на живых. А он посмотрел на меня и сказал: «Привет!» Я ответила и прошла мимо, но в тот момент, когда я проходила, я зацепилась за него этим чем-то, тем, что тогда в туманный день не дало мне спрыгнуть, полететь с обрыва.

Это незначительное что-то, это кусок чего-то, что прежде пряталось, стало день ото дня расти, оно заняло так много места, что мне ничего не оставалось, как его заметить. Появилось что-то еще, что вытеснило и меня, и мою болезнь. Я сидела на кровати и смотрела на этот возникающий ураган и не понимала, как такое вообще со мной могло произойти.

Он ходил в ту же столовую, что и я, он ходил в ту же комнату отдыха, что и я, он даже бывал в библиотеке, где затертый томик Шопенгауэра всегда был у кого-то на руках. Он был там, на лестничной площадке и в переходах, которые я так любила, куда я ходила вдыхать сигаретный дым. Он даже познакомился с моей Леночкой, и я больше не могла слушать, как она говорит, успокаивающе поглаживая меня по руке, эту свою замирительную философию: «Если с нами случилось это, то больше ничего плохого с нами не случится. Просто нужно соблюдать запреты».

Глава 4

В тот день, когда мне исполнилось 25, я ждала автобус. Маленький, круглый рейсовый автобус, из серых сидений которого торчит поролон. Ручки испещрены матерно, стекла грязные, но отчего-то все равно веет уютом прошедших и кем-то прожитых лет. Вокруг были люди с авоськами. Обычные такие люди, живущие в глухой провинции. Круглые бабушки и состоящие из углов мужчины. Юности здесь не было места, и она, сознавая это, закупоривалась наушниками.

Я ехала в медвежий угол: одна магистраль, улицы если не Советские, то Комсомольские. В витринах магазинов реклама памятников соседствовала с рекламой игрушек. В торговом центре стоял аппарат с газировкой и лоток мороженого с надписью: «Выбирай настоящее». За ним приглядывала школьница, уткнувшись, разумеется, в смартфон. Из репродукторов на главной площади рвался Александр Барыкин: «Я буду долго гнать велосипед». Со старых лимонно-желтых зданий выкрикивали бодрые вывески: «Дадим прикурить». Появился троллейбус, и я заняла свободное место.

Ко мне подошла кондукторша. Я спросила ее: «Сколько?» Она ответила: «двадцать восемь». Я дала ей тридцать рублей, но сдача ко мне не вернулась. Я обрадовалась: лицо еще держит фокус, а тело не обмякло. Кондукторша долго в меня вглядывалась, а потом вернула рубль. Я сошла на остановку раньше, на улице Гагарина.

На детских площадках – только дети, никаких наседок, нянь, мамочек, мамаш, мам. Дети кричали во все горло, и их голоса отражались от серых облупившихся пятиэтажек. С окон, как цирковые артисты с перекладин, свешивались цветы. Граффити никто не закрашивал, и этот парад красок сопровождал меня до подъезда.

Дверь открыла сестра. Она махнула мне рукой и прижала телефон к уху. Квартира была обжита: новые, хотя кое-где уже подранные, обои. Вещи не на коробках, а на мебели, побитой, но все же. Календари, фотографии, мячи, плюшевые зайки и забившийся на полку с зимними шапками рыжий кот. Сестра жаловалась кому-то по телефону на процедуру и заговорщицки ткнула меня в бок.

Из комнаты высунулся племянник: маленький любопытный зверек. Он проинспектировал сумки и вытащил квадратуру подарков. Я посмотрела на буфет, где у родителей висело радио. Мать с отцом установили частоту «Говорит Москва», и гимн будил нас по утрам. Из сотен радиопередач вспомнилась одна. Ведущий собирал дайджест мистических историй. И там была девочка, прикованная к инвалидному креслу. Каждый вечер она открывала телефонный справочник, выбирала адресата и писала письмо с соболезнованиями. Человек, получивший такой привет, на

следующий день умирал. Я держала в голове светящийся круг вокруг тех людей, которых любила и кому завидовала. Я была отверженная, а они избранные по закону детерминизма.

– Пройдусь, – сказала я.

– Мелкогохвати! – сестра, не слезая с телефона, опять махнула мне рукой.

Олег вприпрыжку спустился по лестнице и кинул мне мяч. Ему требовалось подтверждение, что я – та, кого он помнит. Карие глаза, как эскимо, таяли, и он хитро на меня поглядывал. Я вернула ему снаряд.

– Мы куда?

Он задает мне вопрос, потому что забыл меня. Если бы помнил, командовал бы он сам.

– Это место ограждено, и там много посадочных мест, – ответила я. Не самое подходящее место для ребенка, но оно ничего для него не значит.

– Стадион? – спрашивает он.

– Нет, на кладбище, – я испытываю секундный приступ злорадства, но потом отдергиваю себя. Мой мир не может быть похожим на мир живых.

– Аааа, – протягивает он.

Кладбище не большое и не маленькое, и здесь тоже есть свои улочки. Мы останавливаемся возле маленькой могилы с розовым медведем. Макс купил его. Розовый цвет мне не нравился, но я отерла его морду от грязи.

– Здравствуй, моя хорошая.

– Давай мы ее выкопаем, тебе будет легче с ней разговаривать! – Олег наклоняется над землей. И пальчиками, аккуратно, чтобы не помять траву, гладит. – Тетя, почему ты плачешь?

Она не прожила и недели. Печаль, грусть, отчаяние – это не те слова. Нужное слово: отслаивание. Ты помнишь, как тело дышит, а потом оно перестает дышать. В этот момент ты замечаешь скачок, переход, который совершают все люди, не зная об этом. Время замедляется, ты все видишь, ты все чувствуешь, но ты не можешь осознать. Тебе предлагают успокоительное, а ты не понимаешь почему. Ты кажешься себя спокойной, уравновешенной, а на тебя смотрят, как будто ты громишь винный магазин. Тебя уводят. Ты стоишь в коридоре и замечаешь, как листок падает с фикуса. Ты видишь желтые пятна на руках врача и набрякший, готовый развязаться шнурок. В этом странном, приглушенном, безликом мире умирает твой ребенок. Вокруг тебя все то же – блестящий пол, светящиеся лампы, уличный свет. Золотой свет лета, ослепительно зеленые кроны, изумрудная трава. И все грохочет, кричит и заявляет о себе. Шум голосов, стук каблучков и резкие звуки музыки. Мир остается прежним. И только ты знаешь, что это не так. Ты живешь дальше, но та часть, которая отламывается от тебя в тот день, всегда будет больше того, что осталось.

Мы выходим за ворота кладбища, где «мир и покой» усопшим желают явно не с той стороны. Олег пинает мячик, ему скучно. Я на ходу изобретаю игру: «Охота на пришельцев». Играть полагаются на улице или в общественном транспорте. Прошу Олега вооружиться бластером с транквилизатором, ведь инопланетяне создания диковинные, а мы редкую фауну бережем. Показываю пальцем на фонарный столб, на крышу дома, на подвал или на ветку и говорю: «Смотри, там сидит Трицибьякус, он с планеты Сатурн. Питается коробками, ботинками, шапками и улитками. У него рыжая борода, хобот вместо носа, ротовой аппарат как у пчелы. Кожа синяя, на одну ногу хромает, глаз один и тот желтый. Очень опасен». Олег заряжает бластер и издает звук «пиу, пиу». Дело сделано! Монстр уснул. Идем дальше. Больших монстров трусим и сверкаем пятками им прямо в глаза, иногда крадемся на цыпочках. Увешанные инопланетянами, как шубами, мы приходим на стадион. Ставлю Олега на ворота, не успеваю три раза промазать, как подходит Макс. Узнавание происходит моментально. Сначала ты смотришь в глаза незнакомому человеку, а потом воспоминания надвигаются на тебя, как поток воздуха из тоннелей метро.

– Лиза, ты?

– Спарту все-таки закончил? – я показываю пальцем на его майку с изображением греческого воина. Я смотрю на поле, по выделенному квадрату бегают десять точек в желтых и малиновых майках. У него на шее свисток. Тренер, догадываюсь я.

Мы неловко обнимаемся, наши руки похожи на клешни, и скорее мешают, чем облегчают занятие.

– Как ты? – спрашиваю, чтобы не пришлось отвечать первой.

– Взял несколько медалей на региональных. Хватило на теплое местечко в департаменте. Теперь все биатлонистки через меня, – он улыбается и ерошит волосы.

– Какого цвета? – спрашивает Олег. Ему надоедает стоять на пустых воротах.

– Зелёные глаза, нос как у тукана, хвост как у обезьяны, питается мусорными баками.

– Во что играет? – Макс отклоняется, присматривая за своими подопечными. Он как воздушный шарик, случайно зацепившийся за ветку. – Приводи парня лучше в спорт. Твой? – он снова смотрит на футболистов и делает им жесты. Футболисты не смотрят на него, Макс нервничает и хочет включиться в игру.

– Племянник.

– Пли! – громко кричит Олег и выстреливает в высокий прожектор.

Мне захотелось напомнить Максу, как мы лазили на этот бобовый стебель, но я не делаю этого. Оба человека: тот человек, который хотел поделиться, и тот человек, с кем можно было поделиться, мертвы.

– Да, пли. Пока, Макс.

По дороге домой мы с Олегом усыпляем еще нескольких монстров. Я заскакиваю в ванную комнату, сажусь на холодный кафель и напрягая горло беззвучно кричу.

На автобусной станции ярко светит солнце. Я вижу ласточек. Они ныряют под крышу станции. Я поднимаю голову и обращаю внимание на гнезда. Они белые, крупные, круглые и лепятся друг к другу, как соты. Поток лучей создает эффект стекла. Оно отгораживает меня от людей, птиц и от всего мира.

– Ящик Скиннера, – сказала Леночка. – Это обычная клетка. Но внутри есть потайной рычаг. Когда внутрь сажают кошку, она начинает прыгать по стенкам и нажимает на рычаг. Клетка открывается, и зверь свободен.

– А что если кошка не двигается? – спросила я, помогая Светке удержаться на горшке. Желтая эмалированная утка с черными пятнами. Светка схватила меня за плечо когтистой желтой рукой. Я почувствовала, как стенки нагреваются, и запах немытого тела.

Светка похожа на тощую курицу. Лицо смуглое, глаза большие, под сломанными бровями нос сливался с губами. Обычно Бобр занимался женой, но на сутки его перевели в другой корпус. Когда Светка плохо себя чувствовала, он не выходил из нашей палаты. Перед уходом он отцеплял каждый ее пальчик и целовал в сухие губы.

Ночью Светка кинула в меня бутылкой с артезианской.

– Больно! – прошептала она, а потом закричала: – Больно! Больно!

Я забарабанила в ординаторскую. Послышался треск раскладушки, трение шлепанец о натертый пол и треньканье ключей в связке.

– Она охрелена совсем, что ли? Эй, Людка, слышишь, опять орет?

– На заднице нет живого места от кеторола, сколько можно!

– Наркоманка чертова, – выругалась медсестра и без церемоний захлопнула дверь.

Таймер сработал, и лампа выключилась. Я медленно стащила теплое полотенце с лица. Шторку отодвинул Лешка, переносица была заклеена пластырем.

– Хау, краснолицый.

– Хау, всемирная детская литература, – я шлепнула его полотенцем и вышла.

Лифтом пользоваться не стала. В детстве я выскочила из одного такого. Он остановился, и мне показалось, что я должна выйти. Я вышла, а мать осталась.

– На вечеринку пойдешь? – спросила я, выбирая платье.

– Нет, – ответила Леночка.

– А чего так?

– Инсайт – это внезапное озарение, которое приводит к решению проблемы. Например, обезьяна берет палку и сбивает бананы, которые подвешены к потолку.

Вечером мы праздновали день рождения Светки. Было шумно, играла музыка. Я вошла в зал и поискала его глазами. Лешка сидел в кресле, я заняла место рядом. Вокруг нас танцевали люди, и мне хотелось сказать так много, но ничего не говорилось. Нам принесли шампанское, он выпил, я выпила. Тем вечером мы много пили, а потом вышли покурить на лестничную клетку. Там уже было занято, в этом не было ничего удивительного, но жалость царапнула, как разбитое стекло под водой.

– Если Бог может изменить решение, то это уже не предопределение, – спорила Светка.

– Избранные избраны для жизни вечной, а погибающие для гибели, – убеждал Бобровский.

– Свобода воли предполагает ответственность, – возразил Леша. – Не нужно усматривать божий промысел там, где его нет. – Он прислонился к поручню, и я навалилась на него.

– Смотреть на вас противно, – сказал Бобровский.

– Теперь раздавите болюсы, сделаете инъекции, настрогаете с десяток детей, да? – спросила Светка.

Я плотнее к нему прижалась, а Леша прокатил сигарету между пальцами.

– Панацея экспериментальная, сколько таких уже было. Кто сказал, что она сработает? – возразила я.

– Докуривай и приходи, палата 45, – сказал Леша и пошел.

– Твой фонтан оптимизма, Светка, редкостная гадость, – Бобровский проследил, чтобы дверь за ним захлопнулась, и сказал:

– Лешка уже жил в Коптилке, ты с ним разминулась. Познакомился тут с одной, панацея вышла, они вкололи и уехали, ребенка завели, а там регрессия. Ребенок больной, три года промучился, умер, жена – красотка, леди Годива, закачаешься, через полгода превратилась в мешок мусора. Они расстались, она вернулась, а он на Большой земле остался. Потом она тут умерла от осложнений, не выгнали. Он не сразу вернулся.

Я шла по переходам, мигал свет, и светлый кафель мерцал, но я не исчезала. С каждым новым всплеском света выливалось все больше. Я дошла до палаты 45 и постучала.

Койка была узкая, и развернуться особо было негде. Я подлезла под его руку, пересчитала носом ребра и громко, нарочито засопела. Никогда я еще не встречала таких тихих людей. До того как мы познакомились, я думала, что тише меня никого нет. Я слышала всех. Люди, совершенно не замечая моего присутствия, нисколько его не смущаясь, расплескивались целиком. Леша молчал, и я пыталась уловить хоть что-то в этом белом шуме.

– Мертвые утки не тонут, – сказала я.

– Титаник с тобой не согласится, – он улыбнулся и погладил меня по голове. Он делал ровно то, что я от него ждала, все, что когда-то ждала от Макса, но его как будто со мной не было.

Комната была маленькой и пустой. Все выглядело так, будто хозяин готовится к бегству или только что прибыл на новое место жительства. На нижней полке, почти пустой, стоял выводок пепельниц. Ни тетрадей, ни ручек, ни медицинских рецептов, ни баночек, всего этого хлама, и особенно настольных книг, которые так часто встретишь у пациентов, не было.

Глава 5

Утром забрали Леночку. Коптильщики собрались возле медицинского поста и тихо переговаривались. Леночка была слишком молода, она не должна была стать старухой. Кто-то начал ставить деньги, но Бобровский это дело быстро пресек.

– Ничего себе денек, – буркнула Светка, пряча свои зубы. Нам не дали толпиться в коридоре, сказали, что сегодня будут красить стены, и выгнали на улицу.

Коптильщики со всех корпусов хлынули на улицу и всосались через дыру в заборе. Серых халатов на набережной стало так много, что живые ретировались. Мы остановились возле «Домика моржей» и увидели, как мужчина забрался в воду. Лешка сорвал свитер, стащил брюки и, позвякивая ремнем, засеменил к лавке, чтобы снять ботинки.

– Если бы ты поменял очередность, было бы проще, – сказала я.

– Как вода? – крикнул Леша моржу.

Мужик, уже заплывший на середину пруда, поднял вверх палец. От поверхности поднимался легкий, едва заметный пар.

Леша спустился по лестнице и резкими движениями разбил воду. Она заворачивалась, как лепестки цветов. Темная вода наплывала на него, поглощая руки, плечи, и спину. Осенняя вода отличается от летней, она становится более вязкой. Поверхностное натяжение усиливается, оно стягивает голубой простор невидимыми нитями, и осенняя вода колышется, как желе.

Нянечка сказала, что Леночке стало лучше, и мы разошлись по своим углам. Кто пошел гонять шар по столу, кто – смотреть фильм, кто – в бассейн. Бобр со Светкой, вихляя бедрами, удалились.

– Смотри, не откуси мне чего! – сказал Бобровский.

– Было бы чего кусать, – ответила Светка.

Леша повел меня на крышу, и я сразу догадалась, что он там уже был не раз. Небо было тусклым, но свет все равно пробивался через тучи. Мне сразу захотелось схватиться хоть за что-то, но он потащил меня к краю. Там, прежде чем совершенно спикировать вниз, крыша образывала плато. На отсеки ее делили широкие желобки, и мне казалось, что моя нога вот-вот поедет. Я вцепилась ему в руку.

– И часто ты сюда приходишь? – спросила я.

Он вытащил из-под навеса плед, там я заметила ящик с пивом. Мы сидели на гребне крыши, пили пиво и смотрели, как на нас надвигается дождевой фронт.

Утром я была в кабинете ультразвука и сказала Татьяне Павловне, что я готова на оставшиеся инъекции.

– Я хочу выйти отсюда, – так я сказала.

Она поручила меня студентке с разноцветными дредами, и меня повезли в отделение интенсивной терапии. Мы спускались в лифте на самый нижний этаж. Никто из нас не любил это место. Там было всегда темно, и из-за ощущения темноты впечатление подводности возрастало. Казалось, что стены влажные, что это отсек затопленного парохода. Тяжелые железные двери с красными неровными надписями «Службное помещение» были приоткрыты, но оттуда не доносилось ни звука.

Сестра была права: процедура была и впрямь неприятной. Начиная с того, что внутрь тебя засовывают эндоскоп – это через рот, а следом суют клизму – это уже через другое отверстие. Ощущение тела как нечто совершенно постороннего, как нечто такого, чем ты не владеешь, дело для нас привычное. В первую очередь ты теряешь стыдливость, с ней тебе просто не выжить. Тебе залезают в трусы, чтобы посмотреть, как растут твои лобковые волосы. Ты раздеваешься по первой просьбе, и уже не думаешь, что в этом есть что-то запретное. И удивляешься, когда кто-то вдруг решит возмутиться. И только через много лет до тебя доходит, что шейно-воротниковая зона не требует полного обнажения.

Когда я впервые попала в Коптилку, меж пациентов бродил анекдот. Про парня, который заставил слепую девушку раздеваться. Она сняла с себя кофту, джинсы, трусы и лифчик, потому что думала, разумеется, что ей командует врач.

На ночь меня привязали к кровати и поставили капельницу. Панацея была из ядовитых.

Окна располагались у самой земли, этаж реанимации, что называется, технический. Отсюда не видно ни звезд, ни фонарей. Изредка были слышны сирены. Иногда мы развлекались тем, что

считали количество скорых, которые въезжали в Коптилку. Дольше всех продержался Бобр, как-то он насчитал сорок машин к четырем часам, а потом провозгласили обед, и он не смог устоять.

В реанимации было пусто, четыре койки очерчивала тьма. Белые пододеяльники, внутри которых прятались шерстяные олени, казались сизыми. Железная кровать – узилищем, и сразу вспоминалась история железной маски. Я представляла себе тех, кто лежал со мной на соседних койках. Скольких я встретила, а скольких забыла. Они присутствовали во плоти, им требовалась еда, чистое белье и уход, а я начисто стирала их из своей памяти. Мне не хотелось о них помнить, и теперь мне требовалось усилие, чтобы воссоздать хотя бы кого-то. Их черты смешивались: им всем было больно, они все хотели облегчения страданий. Они не замечали меня так же, как я потом вычеркивала их из своей памяти.

К утру мне потребовался туалет, и я уже хотела выдернуть иглу из вены. Но появилась студентка с розовыми дредами и отвязала меня. Тело не слушалось, и значительной перемены я не чувствовала. Ментально, в голове я по-прежнему жила на плато, рискуя с каждым шагом сорваться в пропасть. Мама мне рассказывала, что однажды в горах они с группой туристов остановились в потемках. Долго не могли найти места и обрадовались ровной поверхности. Проснулись: рядом пропасть, еще один шагок – и все.

Я сразу отправилась к в нему палату, там было пусто: ни вещей, ни книг, одна безликость. И я уже тогда поняла. Что-то не так. Что-то было не так, случилось что-то непоправимое. Что-то неизбежное, что-то вечное, что-то навсегда меня отделившее от него. Я хотела избавиться от этого ощущения: умылась холодной водой и зашла к Леночке. Она лежала все там же, на диване, как будто никогда не вставала, а рядом росла стопка книг.

– Где Леша? – спросила я.

Она сморщилась, но потом на ее лице Будды с этой проклятой кроткой улыбкой Моны Лизы появилась корка сочувствия.

Я хотела отхлестать безмятежное лицо, хотела достать ремень и выпороть мрамор щек. Заставить выкинуть дурацкую книжку, накрасить лицо, подвести глаза и вышвырнуть на танцпол жизни. Я подошла к ней, погладила щеку и поцеловала. Она подняла на меня свои большие, светлые, чуть в зелень глаза, они глядели холодно и равнодушно. Не глаза, а холмы, которые неизменными стоят много веков. Она прошептала:

– Теперь с тобой может случиться все что угодно.

На медицинском посту столпились коптящие. Они тихо переговаривались и ставили деньги. Белые халаты входили и выходили из палаты.

– На кого ставим? – спросила я.

– На кого? На старуху, разумеется, – ответил раздраженно Бобровский. Я перевела взгляд на Светку. Она убрала с лица волосы и улыбнулась.

– Кто старуха?

Бобр с любопытством смотрел, как я оттираю щеки.

– Ну чего ты как маленькая? Забыла, где находишься? Это же Коптилка!

Шторы были занавешены, а весь коридор – темный. Только из палаты, когда дверь приоткрывалась, появлялся свет. Я подошла к двери и хотела было ее дернуть, но мне навстречу вышла Татьяна Павловна.

– Куда собралась? Тебе в другую дверь.

Она проводила меня в комнату, помогла собрать вещи и спустилась со мной на первый этаж. Солнце затопило квадраты, и казалось, что у них нет краев. Татьяна Павловна вытолкнула меня спиной в отсек между стеклянными дверьми. Оступившись, я чуть не упала с бордюра. Прозрачный барабан вращался, как лопасти подводной лодки. Мерно и гулко.